

НИТЬ ГРОМА

ДИТЯ ГРОЗЫ

КНИГА ПЕРВАЯ



КАЙДЕН

Кайден

Нить Грома. Книга 1. Дитя Грозы

«Автор»

2026

Кайден

Нить Грома. Книга 1. Дитя Грозы / Кайден — «Автор», 2026

Когда Гэну было пять, в грозу рухнул Архив Осэки, и тридцать один человек не вернулся домой. Виновным объявили его отца. Теперь мальчика обходят стороной, а внутри него гремит гроза, которую он не умеет держать. Он вспыльчив, упрям и смеётся слишком громко, чтобы никто не заметил, как ему страшно. Но у изгоя находится друг, который не убегает, девочка, которая бьёт в ответ, и тётушка, которая кормит его бесплатно. Первая книга цикла о гневе, который может стать силой, и о том, что правда о той ночи может оказаться совсем иной.

© Кайден, 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1.	5
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Кайдэн

Нить Грома. Книга 1. Дитя Грозы

Глава 1.

В Осэки гром приходит не с неба. Так говорили старики на нижних террасах, и так оно и было. Сначала вздрагивал камень под ногами. Потом – вода в кружке. Потом – зубы. И только в самом конце, когда всё уже решилось, над крышами разворачивался тот звук, который чужаки принимали за начало бури. Ребёнок из Осэки учился различать эти ступени раньше, чем учился ходить, потому что от них зависело, успеет ли он добежать до дома.

Гэну Араси было пять лет, и в ту ночь он проснулся не от грома.

Он проснулся оттого, что в доме не спали.

Взрослые потом не верили, что пятилетний мальчик способен такое почувствовать, но Гэн знал точно: когда в доме спят все, он дышит ровно, как большая ленивая собака, а когда не спит один человек, по стенам и балкам идёт мелкая дрожь, какая бежит по бокам лошади, когда на неё садится муха.

Дом дрожал.

Гэн лежал с открытыми глазами и слушал. За ставнями шёл ливень – ровный, густой, злой. А за стеной, на кухне, горел свет, и двигался отец. Тихо, как двигаются люди, которые не хотят разбудить ребёнка и знают, что уже разбудили.

Гэн сбросил одеяло и вышел в коридор босиком.

Кухню заливал жёлтый свет масляной лампы. Рай Араси сидел на лавке у остывшей печи и затягивал шнуровку сапог. Левый был готов. Над правым он возился медленно, с тщательностью, какая бывает у людей, оттягивающих неизбежное.

Он был высокий. Это Гэн помнил о нём лучше всего, и потом, когда помнить станет почти нечего, он всё равно будет помнить именно это: отец был высокий, от него пахло дождём, кожей и дымом, а ладонь у него была такая большая, что Гэн целиком помещался на ней, когда отец подбрасывал его к потолку.

На воротнике куртки блестел золотой шнур – тонкая плетёная тесьма, какую носят только Золотые Проводники. Во всей Осэки таких было трое. Гэн не понимал, что это значит. Он знал одно: когда отец идёт по улице, мальчишки с нижней террасы замолкают на полуслове, а потом долго глядят ему вслед.

— Ты уходишь, — сказал Гэн.

Отец поднял голову. На его лице мелькнуло быстрое, виноватое выражение – так смотрит человек, которого застали за добрым делом, – и тут же исчезло.

— Разбудил?

— Дом не спал.

— Дом не спал, — повторил отец негромко и, кажется, ничуть не удивился. — Ну, иди сюда.

Гэн подошёл, и отец притянул его к себе. Куртка на плечах была мокрой и пахла железом. Под ней билось сердце – быстрее, чем у человека, который просто обувается.

— Куда? — спросил Гэн, уткнувшись в мокрую ткань.

— Наверх. К Архиву.

— Ночью?

— Ночью.

— Ты не дежурный, — сказал Гэн.

Он знал это точно. Дежурства записывали мелом на дверной косяк у входа, а Гэн обожал читать чужие записи, и отец смеялся над ним за это. Сегодня отец не смеялся.

— Не дежурный, — согласился он. — Но тучи идут не с той стороны.

Гэн посмотрел на ставни. Тучи были тучами; они шли и шли. Но отец глядел на окно так, как глядят на старого знакомого, у которого вдруг появилось незнакомое лицо.

— Они стоят, — произнёс он тише, скорее себе, чем сыну. — Всю ночь стоят. Над Архивом. Будто их там привязали.

И тогда внутри у Гэна отозвалось.

Это не было страшно. Скорее похоже на то, как если бы глубоко под рёбрами жил большой тёплый зверь, и вот теперь он, не просыпаясь, повернулся на другой бок. Гул прошёл по рёбрам, по животу, дошёл до кончиков пальцев. Лампа на столе, и без того дрожавшая, наклонила пламя в сторону мальчика, как цветок к свету.

Отец это увидел.

Он медленно опустил руки. Посмотрел на лампу, потом на сына, и лицо его стало таким, каким Гэн потом видел его только во сне: нежным, усталым и испуганным.

— Тихо, — сказал Рай и положил ладонь Гэну на грудь, туда, где гудело.

По его запястьям скользнуло золотистое сияние, едва заметное, как отсвет на дне ручья.

— Это не твоё. Ещё не твоё. Слышишь? Не сегодня.

Гул стих. Не сразу, неохотно, как сердитый пёс, которого отгаскивают за ошейник, но стих. Лампа выпрямила огонь.

— Что это? — шёпотом спросил Гэн.

— Потом. Я расскажу тебе потом, обещаю. Это долгий разговор, а у меня короткая ночь.

Он встал, снял с крючка плащ и накинул на плечи. Гэн смотрел, как отец идёт к двери, и вдруг понял, что не сможет его отпустить. Просто не сможет. Он вцепился обеими руками в полу плаща.

— Когда ты вернёшься?

Рай обернулся. Помолчал. Потом опустился на корточки, так что его лицо оказалось вровень с лицом сына. Глаза у него были серые, как у Гэна, как мокрый камень на нижней террасе, а в уголках лучились морщинки – от смеха, а не от забот. Гэн всегда думал, что так и должно быть.

— Помнишь, как мы считали молнию?

Гэн помнил. Прошлым летом, на крыльце, когда гроза шла через долину, отец показал ему фокус, который знает каждый ребёнок в Осэки, но которому каждого учит именно отец. Видишь вспышку – считай. Сколько досчитал до грома, столько в стороне гроза. До трёх – над самой головой. До десяти – за гребнем. До двадцати – можно спать.

— До трёх — значит, над нами, — сказал Гэн.

— До трёх – значит, рядом, — поправил отец. — Так вот. Посчитай до трёх, и я вернусь.

— И всё?

— Всё. Это же совсем недолго.

Он улыбнулся, и Гэн улыбнулся в ответ, потому что улыбка отца всегда звучала как разрешение. Потом отец поцеловал его в макушку, жёстко и быстро, как ставят печать, поднялся и распахнул дверь.

Ливень ворвался в кухню, качнул пламя лампы, швырнул мальчику в лицо горсть холодных брызг. Гэн зажмурился.

Когда он открыл глаза, дверь уже была закрыта, а на полу остался мокрый след там, где стоял отец.

Он подтащил к окну табурет, залез на него и приоткрыл ставень на ширину ладони – ровно настолько, чтобы видеть улицу и чтобы дождь бил в лицо.

Осэки стояла на склоне Громого Хребта, как лестница, которую великаны строили для себя и бросили на полпути. Террасы, ступени, дворы; дома из серого сланца под тёмной черепицей; узкие улицы, по которым днём бежала вода, а ночью – ветер. Выше всех, на последней террасе, под самой скалой, поднималась белая башня Архива, единственное здание в деревне, сложенное не из местного серого камня, а из светлого, привезённого издалека. В ясные вечера она светила на закате, как зуб. Сейчас Гэн видел только её контур, когда молния прошивала небо.

Отец шёл вверх по улице. При каждой вспышке Гэн видел его: тёмная высокая фигура, плащ, широкий шаг. Шёл не быстро и не медленно – шёл как человек, который выбрал дорогу и больше не оглядывается.

— Раз, — сказал Гэн.

Вспышкахватила улицу, и отец был уже у следующего поворота.

— Два.

Он завернул за угол. В просвете между домами мелькнул край плаща.

— Три.

Гром ударил, но не сверху, как положено, а снизу, из камня, из подоконника, из табурета под ногами. Гэн вцепился в раму и подумал с замиранием: до трёх. Значит, над нами.

Улица была пуста.

Отец не вернулся.

Гэн нахмурился. Это было странно. Отец сказал: посчитай до трёх. Он посчитал до трёх. Он всегда считал правильно, лучше всех мальчишек на нижней террасе; он умел до ста, а некоторые говорили, что и до двухсот. Значит, он где-то ошибся. Значит, надо ещё раз.

— Раз, — сказал он.

Ему не было страшно. Это была игра, правила которой знал только он, и в ней нельзя было проигрывать. Он спрыгнул с табурета, добежал до кухни, влез на лавку и достал с полки глиняную банку с сушёной фасолью, заготовленной к зимнему супу. Считать лучше с чем-то в руках – это тоже сказал отец. Он высыпал на подоконник горсть и придумал правило: каждая тысяча – одна фасолина. Потом вернулся на табурет и начал заново.

Гроза не уходила.

Через сотню Гэн заметил, что молнии ведут себя неправильно. Они не били в землю. Они бежали по небу вбок, вверх, навстречу друг другу, и над верхней террасой сплетались в светящийся узел, как нити на ткацком станке. Узел стоял неподвижно и пульсировал, и каждый раз, когда он вспыхивал, дом дрожал.

Двести. Триста. Триста сорок.

Гром теперь приходил вместе со вспышкой, без паузы, без счёта, и считать его стало нечем, поэтому Гэн считал просто так, для себя, шёпотом: пять лет учат человека многому, но прежде всего – держаться за порядок вещей, когда всё остальное рушится.

Шестьсот. Семьсот. Восемьсот.

Восемьсот двадцать.

Восемьсот двадцать один.

И звук пропал.

Исчез в одно мгновение, словно кто-то накрыл мир ладонью. Ливень продолжал идти – Гэн видел, как капли разбиваются о подоконник, – но не шумел. Пламя лампы стояло неподвижно, острое, как лезвие ножа. Он открыл рот, но не услышал собственного голоса; остался только стук крови в ушах, ровный, далёкий, чужой.

А потом он почувствовал нити.

Отец говорил о них редко и всегда тихо: тонкие невидимые нити, которыми каждый человек привязан к миру. Видеть их Гэн не умел. Но он почувствовал, как они натянулись: тонкие, бесчисленные, невидимые, они тянулись от каждого дома, от каждого окна, от каждого чело-

века в деревне – вверх, к башне, к светящемуся узлу под небом. Они были как струны. Кто-то невидимый тянул за них все разом, и они пели, тоненько и невыносимо.

И одна из них – толстая, золотая, самая яркая из всех – оборвалась.

Гэн не понял, что это значит. Он понял только, что внутри стало пусто, как в комнате, из которой вынесли мебель.

Звук вернулся.

Вернулся всем сразу – всем, что накопилось за время тишины. Гэна ударило в грудь, как кулаком, и сбросило с табурета на пол. Он лежал на спине и смотрел в потолок, а мир снаружи раскалывался с таким рёвом, будто горы решили сдвинуться с места. Вспышка залила кухню белым, таким белым, что в нём не осталось теней, и в этом свете Гэн увидел, как по его рукам, по полу, по стене побежали тонкие золотые искры. Потом всё стало чёрным.

Когда он очнулся, звонили колокола.

Сначала один, потом десять, потом все сразу – медленным, тяжёлым звоном, который в Осэки отбивали раз в жизни, на беду. Мимо окна бежали люди. Кто-то выкрикивал имя, и Гэн не разобрал чьё. Дом через улицу распахнул ставни, и мужской голос закричал: «Архив! Башня! Архив упал!» – и оборвался на полуслове, как обрывается человек, которому вдруг не хватило воздуха.

Гэн лежал на полу и слушал, как вокруг него просыпается мир.

Потом поднялся. Руки дрожали. На ладонях ещё таяли золотые блёстки, и он быстро, украдкой вытер их о рубаху, будто они могли его выдать. Подтащил табурет к окну, влез на него и посмотрел наверх.

На последней террасе, под скалой, где всегда стояла белая башня, было только небо.

Он смотрел на это место, пока не заболели глаза.

Потом отвлёк глаза, нащупал на подоконнике фасоль и понял, что счёт сбился. Он не помнил, на каком числе его застала тишина. Восемьсот двадцать один? Или позже? Или раньше?

Значит, надо сначала.

— Раз, — сказал он.

Время изменилось. Колокола смолкли, улица наполнилась голосами, потом опустела, потом наполнилась снова. Мимо окна пробегали люди с ведрами, с лопатами, с носилками; женщины в мокрых платках шли вверх, а вниз никто не возвращался с лёгким лицом. Дождь ослабел и стих. Небо над хребтом из чёрного стало свинцовым, потом серым, потом цвета старой кости. Никто не заглянул в окно к мальчику на табурете. Каждый, кто проходил мимо, спешил куда-то дальше, и у каждого был взгляд человека, который несёт полную до краёв чашу и боится расплескать.

Гэн считал.

Тысяча – и одна фасолина отправлялась на подоконник слева. Тысяча – вторая. Он считал вслух, потом шёпотом, потом одними губами, без звука. К шестой фасолине пересохло горло. К восьмой онемела спина. К десятой в щель ставня упал первый луч – медленный, жёлтый, ленивый, как будто солнце долго раздумывало, стоит ли вообще вставать над такой деревней.

Одиннадцатая тысяча закончилась, когда в дверь постучали.

Стук был один, глухой, будто кто-то привалился к двери плечом.

Гэн слез с табурета, дошёл до двери и открыл.

На пороге стоял Ото Сэндо.

Гэн его знал. Это был друг отца – один из тех взрослых, что приходят по вечерам на кухню, ставят на стол бутылку и молчат с отцом так, что ребёнку в соседней комнате становится спокойно. Худой, жилистый, с привычкой чесать шрам на подбородке, когда думает. Левая половина его лица была закрыта повязкой, пропитанной чем-то тёмным, одежда стала серой от пыли и каменной крошки, а в волосах белела известь, будто он успел поседеть за ночь.

Он стоял, держась рукой за косяк. Рука дрожала.

Гэн ждал, что он скажет.

Сэндо открыл рот. Закрыл. Открыл снова. Единственный глаз скользнул мимо мальчика – по кухне, по пустой лавке, по мокрому следу на полу у двери, по цепочке фасоли, аккуратно отложенной на подоконнике. На фасоль он смотрел так долго, что Гэн успел досчитать про себя до десяти.

— Он сказал считать, — объяснил Гэн. — До трёх. Я считал, а он не вернулся.

Лицо Сэндо переменялось. Его единственный глаз закрылся – плотно, до морщин, а когда открылся снова, в нём было то, чему Гэн тогда не нашёл бы названия, но что запомнил на всю жизнь: так смотрят на ребёнка, которому нужно сказать правду, и понимают, что не смогут.

— Гэн, — хрипло сказал Сэндо.

— Я посчитал одиннадцать раз по тысяче, — перебил Гэн. Ему важно было, чтобы Сэндо услышал. Это походило на доклад, — Я не сбивался. Почти. Один раз только, когда был шум.

— Гэн...

— Он сказал: до трёх.

Сэндо опустил на корточки – медленно, как человек, у которого болит всё тело, – и его лицо оказалось вровень с лицом мальчика. Он протянул руку. Гэн заметил, что пальцы у него содраны до мяса, а запёкшаяся на них кровь – не только его. Ладонь коснулась плеча Гэна и замерла.

Они смотрели друг на друга. В тишине было слышно, как у Сэндо свистит в груди, и Гэн подумал, что так дышат люди, которые бежали всю ночь.

— Поспи, — сказал наконец Сэндо. Голос у него был чужой, скрипучий. — Закрой дверь и поспи. Я... вернусь.

Он поднялся, постоял ещё мгновение. Гэн так и не понял, чего он ждал и пошёл вверх по улице, ссутулившись, шаг за шагом, не оглядываясь. Мальчик смотрел, как он уходит, и впервые в жизни заметил, что взрослый человек может идти так, будто несёт на спине гору.

Гэн закрыл дверь.

Он постоял посреди кухни. Было тихо – совсем тихо, как бывает после грозы, когда мир промыт и выжат и не знает, что с собой делать. В луже у порога отражалось утреннее небо.

Сэндо сказал «вернусь». Про отца он не сказал ничего.

Гэн думал об этом с упорством, на которое способны только пятилетние и очень старые люди. Если бы случилось плохое, взрослые сказали бы. Взрослые всегда говорят, когда случается плохое: они садятся на корточки, делают лицо и говорят. А Сэндо не сказал.

Значит, всё в порядке. Просто счёт ещё не закончен.

Он вернулся к окну. Собрал с подоконника одиннадцать фасолин, перекатил в ладони – тёплые, гладкие, как маленькие камешки, – и спрятал в карман рубахи. Потом снова влез на табурет, высунул нос в щель ставня, откуда тянуло мокрым камнем и дымом, и посмотрел вверх, на пустое место, где утром должна была стоять белая башня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.